



Михаил
Левитин
После
ЛЮБВИ

Роман о профессии

Михаил Захарович Левитин
После любви.
Роман о профессии
Серия «Театральные люди»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44963405

*После любви. Роман о профессии: Издательство АСТ: Редакция Елены
Шубиной; М.; 2019
ISBN 978-5-17-118612-8*

Аннотация

Михаил Левитин – театральный режиссер, художественный руководитель театра «Эрмитаж», народный артист России, писатель, автор двух десятков книг. «После любви» – роман о профессии режиссера, о спектаклях, об актерах, об Одессе и Москве, об эксцентрике и обэриутах и конечно, о людях театра. Михаил Жванецкий и Виктор Шкловский, Алиса Коонен и Любовь Полищук, Роман Карцев и Виктор Ильченко, Петр Фоменко и Юрий Любимов, Рита Райт-Ковалёва и Курт Воннегут, Давид Боровский и Владимир Высоцкий...

Содержание

После любви	5
Несостоявшееся свидание	5
Театр и курица	9
Интеллигент с червоточинкой	16
Бугуруслан	22
Варшавская мелодия	30
Синяя птица	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Михаил Захарович Левитин
После любви.
Роман о профессии

© Левитин М.З., 2019.

© ООО «Издательство АСТ», 2019.

После любви

Роман о профессии

Несостоявшееся свидание

Надо ехать в Одессу и начинать всё сначала.

Что-то шепчет во мне эту книгу сквозь дрему.

И дремлю я, как пожилой человек... нет, просто дремлю.

Чтобы книга сама прибилась ко мне.

Только не насиловать воспоминаний... не утверждать, что было так, как ты помнишь.

Ты ничего не помнишь.

Ты не мог догадаться тогда, что придется вспоминать девочку, к которой ты не пришел на свидание.

Вы договорились на Тираспольской, недалеко от белого, недавно выбеленного собора, очень малороссийского, по настойчивости впечатления почти пугающего.

Сияет собор в глубине неба, непричастный к нашей истории. На его высоких ступенях спуют нищие. Они особенно неприятны самодельными сумками мытарей на плечах.

Они не принадлежат себе. Только истории.

Повторяются, множатся, мелькают...

Белый фон в театре мне всю жизнь приходилось преодолевать – в «Билли Пилигриме», в «Живом трупe». На белом человек уж совсем одинок. Или это только мое?

Так электрическая лампочка, зажженная среди бела дня на улице, меня пугает самоубийством. Почему бы ее не выключить?

Костью в горле этот собор. Я не мог заставить себя его полюбить.

Как при первой же встрече, она попыталась пробежать мимо, но как-то споткнулась об меня.

Это надо запомнить.

Я помешал ритму ее движения. И эта запинка или остановка есть оценка, перелом намерений, всё равно что, падая, пытаться понять, что ты при этом теряешь.

Надо запомнить!

Я потерял всё, она – не знаю... Слишком спешила... Много возможностей.

Она смотрела из-под челки. Русая челка опережала взгляд. Она ее поддувала снизу вверх – та мешала видеть и бежать.

С расстёгнутым воротом полотняной рубашки, чтобы не умереть от жары – раз, и два – чтобы чувствовать себя свободной.

Ох, до чего же я люблю эту нашу встречу, которую мы могли даже не заметить!

Мы столько раз оказывались после на том самом театральном пятачке в Москве. Она – известная актриса, я – режиссер... И ни разу не окликнули друг друга.

Или не встречались случайно, или она избегала меня как болтуна, который тогда не пришел. А я не пришел.

Я испугался. Что она изменит весь ход моей жизни... Как одна из побирушек, с мешком сбежавшая со ступеней собора.

Я испугался, что она слишком нуждается во мне. Разве такое невозможно? Любовь...

Мы договорились встретиться друг с другом в тот же день. Понимали, что за этой встречей последует, но ничего уже не могли изменить. Если бы эта встреча состоялась, я забыл бы ее сейчас же. Как забыл много таких встреч.

Но она не состоялась... И я помню все подробности этой несостоявшейся встречи.

Мы оба мечтали о невероятной силы объятьях, о поцелуях, которые нам за жизнь так и не пришлось испытать... если только в кино. Я не знал тогда, что она пробежала мимо меня в перерыве съемок первой своей картины на Одесской студии. У женщины-режиссера, влюбившейся в нее так же внезапно, как и я. В этих женщинах была простота, доходящая до бедности. До бедности, переполненной гениальными догадками.

Не хочу называть их по имени. Назовешь – и исчезнет че-

ловек, не принадлежащий тебе. Начнешь еще считать себя волшебником. Вот назвал, а тот исчез, предположим, умер. Надо просто верить в силу совпадений. Предположить, что вы подумали друг о друге одновременно, только твое воспоминание оказалось сильнее.

Та женщина-режиссер действительно умерла. Девушка, к которой я не пришел на свидание, жива. Я хочу, чтобы она жила долго без всяких воспоминаний обо мне.

Да и какие могут быть воспоминания о неслучившемся?!

Могут! Как на сцене. Там всё не случилось, а как-то происходит. Вот что интересно. Вот что нужно понять... А не рассказывать чужие истории, произошедшие с автором за письменным столом.

Театр – это ты. Из ничего. В поисках самого себя. Непременно живого, не найденного, не обнаруженного, но живого, отмеченного Богом. Участь персонажа – бессмертие. Каждого! Только он об этом не догадывается. Как и актер, которому доверено провести его через пространство.

Пространство интересно, только если в нем замечен человек. Как в пустыне. Пусть даже точка, мираж, присутствие человека. Должны же мы за кем-то следовать.

Она стала свободна тогда от моих баек о ГИТИСе, где я уже занимался на первом курсе. Никакой профессиональной корысти.

Она просто споткнулась об меня.

Театр и курица

В театр я попал за взятку. Папа принес директору театра огромную курицу, и меня взяли рабочим сцены.

– Зачем вашему мальчику всё это нужно? – спросил директор.

– Не знаю, – смутился отец, – мальчику нужно познакомиться с вашим главным режиссером. Кажется, он тоже хочет стать главным режиссером.

«Вот придурок!» – подумал холеный седовласый директор, чья фамилия слегка напоминала нашу.

Чтобы сгладить впечатление от будничного рассказа, как я попал в театр, я написал отдельный маленький рассказ «Театр и курица». И потерял. Что хорошо. Я всегда подправлял неприятное прозой. И терял. Эта проза для себя была мне необходима. Она стирала лишние черты. Если по Пушкину.

При встрече со мной директор, почти мой однофамилец, отводил глаза. Так что я его запомнил, он меня – нет. Не испытываю ни отвращения, ни благодарности.

Как-то непривычно прямо писать о себе, не прячась за спинами персонажей, не притворяясь, не делая самого себя кем-то другим, обязательно величественным и загадочным. Во мне ни загадки, ни разгадки нет. Просто несу в себе собственную тишину, когда кажется, что все самые необыкновенные события в мире ищут только тебя. А кого им еще ис-

кать?

Ты правильно родился, никем не притворяешься. Ты сам – ответ на все вопросы. Твой метод – это ты сам, а профессией ты обязан тем, кто без тебя не может. Они со мной, пока мне есть чем жить. Я пообещал им, своим актерам: как только перестану быть вам интересным, уйду. И они до сих пор стараются убедить меня, что я всё еще интересен. Они берегут меня как последний заряд, которым можно выстрелить по врагу.

Я родился двадцать седьмого декабря сорок пятого года. Но что шло в одесских театрах двадцать шестого и из какого именно театра, музыкального или драматического, увезли маму рожать, так никогда и не узнаю. А мама ничего не помнит. Известно только, что схватки начались в театре. Но что было их причиной – радость, веселье или мука от увиденного?! Что она смотрела, неизвестно. А память у нее была безупречная, архивистская, бугурусланская.

Должно быть, мое шевеление в чреве отвлекло ее от спектакля, а может быть, испугалась, что начну шуметь и помешаю зрителям смотреть спектакль дальше. Она всегда была излишне щепетильна, моя мама. «Родила, как пукнула», – любила говорить она, вспоминая, как я, выскакивая, успел хлопнуть ножкой по ляжке и заорать так, что врачи рассмеялись. Это она хорошо помнила, а какой спектакль шел накануне и где – ЗАБЫЛА. Вот я теперь и разбираюсь.

– У меня были другие заботы, – оправдывалась она. Какие могут быть заботы кроме театра?!

До сих пор кажется, что она дурачила меня.

Она, придающая значение любой мелочи, помнит, как я родился, а что было перед ней на сцене, не помнит... Неужели мое рождение убедительнее спектакля, или спектакль был настолько плох?!

Газеты от 26 декабря, хранящиеся вместе с остальными годами в библиотеке Одесского университета, оказались залиты водой при ремонте. И когда я гораздо позже расспрашивал нескольких уцелевших стариков, они смотрели на меня с тревогой – что там могло особенного идти в первые послевоенные месяцы, что мне от них нужно? Объяснить я не мог.

Встревоженный находкой – книгой о Камерном театре в «Букинисте» на Греческой площади, – я ни о чем, кроме театра, думать не хотел. Во всем я искал теперь следы этого театра, театра двадцатых годов вообще. Они воскресли для меня, они для меня не умирали. Сданная в букинистический одержимым поклонником Камерного книга была переложена аккуратно вырезанными рецензиями довоенных лет и полна диковинными фотографиями, на которых мне, приученному к русскому бытовому театру, всё казалось каким-то градом Китежем и уж, безусловно, чем-то балет-

но-оперным, вычурным.

Меня хорошо образовали в детстве, ничего не объяснив, кроме того, чем заниматься не стоит. Рецензии как бы составляли вторую книгу внутри первой. Всё перемешано – от гастролей в Париже до одесских гастролей, награды, фото макетов на международных выставках, а потом резко в самом конце – некролог Таирову. Видно, дожил собиратель до таировской смерти, а потом сдал книгу в «Букинист». Кому он нужен, Камерный театр, без его создателя?!

Но чем была бы эта книга без фотографий женского лица в сложном гриме, в сложном парике, с грубо очерченными глазами, проникающими прямо в сердце.

Алиса Коонен.

Оказалось, театр может возникнуть во имя любви. Любви режиссера к актрисе. Я этого не знал. Но то, что они не отпускали меня, мальчика, ничего не знавшего о любви вообще, заставляло меня думать, что мама видела что-то особенное накануне моего рождения, что каким-то образом чудо двадцатых годов промелькнуло перед ней.

Это могла быть пьеса, написанная в те годы, актёр или актриса, работавшие с Таировым, какой-то штрих, дающий представление о фантастической действительности, без которой никакой театр существовать не может.

– Нет, – говорила мама, – ерунда. Всё это давно прошло. Ты просто не понимаешь, в каком мире живешь.

– Не понимаю и не хочу понимать.

Я хочу думать, что когда она готовилась родить меня, перед ней возникло видение того спектакля, который я хочу создать всю жизнь. И никто не убедит меня, что всё меняется безвозвратно. При чем тут смерть Таирова, Камерного театра, безымянного собирателя, даже моя? Театр не умирает.

Завадский, мой учитель, которому я надоел со своими байками о двадцатых, заставил меня встать и рассказать, как я вижу Камерный театр. Это уже в ГИТИСе. Говорил я чуть меньше часа. Слушали меня хорошо, и учитель, и верный моим бредням курс. После долгой паузы Завадский, нервно перекладывая карандаши, сказал:

– Камерный театр не был таким!

Сколько раз я писал о книге, обнаруженной в магазине «Букинист»¹! Интересно, если бы кто-то нашел эту книгу раньше, поменялись бы мы с ним местами?

– Роза, ты не помнишь, где живет Коонен, если она вообще живет?

– Тьфу-тьфу-тьфу, ну и циники вы, главные режиссеры, – ответила женщина, не вынимая папиросы изо рта. – Боги не умирают.

До тех пор она сидела в глубине кабинета за небрежно расставленными стульями, чтобы не мешать нашей беседе. Теперь подошла к столу Главного и то ли присела на угол стола,

¹ Повесть «Витя Куза в сандалиях на босу ногу» вы найдете в конце этой книги.

то ли облокотилась. Говорила она хрипловато:

– Алиса Георгиевна живет всё там же, в Камерном. Он теперь – Театр Пушкина. У них с Таировым была маленькая квартирка над сценой.

– Это Роза Абрамовна Сирота, – сказал Главный. – Она замечательный режиссер, работает в БДТ у самого Товстоногова. Так что, если вы пришли что-нибудь нам почитать, вам удивительно повезло. Кто только не стремился показать-ся этому человеку, правда, Роза?

– погоди, – сказала она и обратилась ко мне совсем как к взрослому: – А почему вас интересует Алиса Георгиевна? Откуда вы о ней узнали?

Я рассказал о книге.

– Книга скучная, – сказала она. – А вот интерес ваш необычный.

– Да уж – сказал Главный, – не каждый сознается в таком интересе...

– А что, нельзя? – заносчиво спросил я, ненавидя снисходительное к себе отношение.

– Можно, – сказала Роза Абрамовна. – Ну, читайте.

И неожиданно для себя сразу расположившись к этому человеку, я стал читать «Последнюю ночь» Багрицкого и свои, пока еще не потерянные рассказы. Мне не мешали. Когда закончил, Главный, удивленно разглядывая меня, спросил:

– Что скажешь, Роза?

– Смешной мальчик, – сказала она. – Актером вы вряд

ли будете. И не только потому, что способности неочевидны, просто вам станет скучно. Но поступать я бы вас не отговаривала.

– И не надо, – сказал я. – С меня мамы достаточно.

– Ну, если мамы!.. – рассмеялась она. – Передайте ей, что скромный театральный специалист Роза Абрамовна Сирота, которая всех видала-перевидала, просит маму дать вам шанс. Вам сколько лет?

– Пятнадцать.

– И вы торопитесь?

– Очень!

– Ну, с Богом.

Провожая меня до двери, Главный шепнул:

– Вы не представляете, как вам повезло – она один день в нашем городе.

Чудак! Будто я мог этого не понять...

С Розой Абрамовной мы потом встречались несколько раз, в толпе театральных людей. Никогда не вспоминали о прошлом. Но так хорошо улыбались друг другу, что всё хотелось начать сначала.

Интеллигент с червоточинкой

Интеллигентом с червоточинкой называл меня Сергей Александрович Бенкендорф.

Мой педагог. Последний из Бенкендорфов.

Тех самых...

Он так и сказал:

– На курсе два интеллигента: Бородин и Левитин. Но первый – настоящий интеллигент, а второй – с червоточинкой.

Об Алёше трудно было бы сказать точнее, а вот как он догадался обо мне?

Я не переживаю. Мне даже льстит эта поправка к слову «интеллигент». Она помогает мне оставаться собой. Я вертлявый, самонадеянный, совсем немолодой человек. Таким был с детства, таким сделал и свой театр. Только в нем обнаруживалось еще веселье и способность к состраданию. Об этом необязательно распространяться.

Считается, что человек должен быть верен. Кому, чему – неважно. Верен и всё. Я на это не способен. Должен жить в нескольких направлениях сразу. При этом абсолютно целено, не разбрасываюсь. Иначе мне вести за собой людей неинтересно. Артисты устали жить бесцветно, обслуживая чужую волю... для этого им достаточно государства, а театр живет по своим правилам.

Что это за правила? Прежде всего, они скучны. Их необя-

зательно любить. Просто выучить – и всё.

Самое главное – предчувствуешь ли ты повороты или создаешь их сам. Все мои встречи неожиданны, они «из-за угла». Дальше идешь вместе с тем, кого встретил. Всё это называется случаем. Ты становишься жертвой случая или всё-таки своей собственной прихоти, своей выдумки. Ты раскладываешь свою жизнь как пасьянс, о самом пасьянсе представления не имея, раскладываешь судьбу. А навстречу выходят люди, которых ты искал. Вероятно потому, что лица их знакомы. Будто возвращаются из забвения, долгой разлуки. Ты отгадываешь, кто они. Начинается такая игра, приятная для обеих сторон. Одни радуются, что угадал, другие – что их узнали...

Так я узнал Игоря Терентьева. Сначала из книги Петрова «50 и 500» по наводке «левейший из левых», затем он сам вышел из-за угла. А потом Давид Гутман, Фёдор Каверин, Николай Фореггер, Арнольд Арнольд – все мои герои-мученики. Их временный успех среди людей сразу причиняет боль. Успех этот исчезает на твоих глазах – всегда несправедливо. Это всё большие люди. Очень большие, но без претензий на вечность. Из тех, кто пишется после главных, уцелевших в истории имен: «и другие». Я назвал так один из циклов своих передач на телевидении – «...И другие». Кто-то же должен был их представить. Я счастлив, что мне это удалось.

Представил даже, что они, ушедшие, ждут меня там, не торопят, готовят дружескую пирушку.

Ведь я не врал! Галлюцинировал – да. Но в правильном направлении.

Я отправлялся на встречу с ними, не зная адреса, и нашел. Значит, нам всем это было нужно.

Конечно, они сами подсказывали путь, не одна только гениальная интуиция. Это были мои люди. У них был особый запах близких людей. Только собственное тщеславие уничтожает обоняние. Запах грешного тела, прикрытого случайным тряпьем, с пуговицей на пальто, державшейся на последней ниточке, – всё было знакомо мне. Они были безобразники, с ними – весело.

Вот не стало Фоменко, человека, насмешливо относящегося к любви, а я продолжаю искать его в толпе. И когда мне везет, я делюсь везением с близкими ему людьми. «Вот, говорят, Фоменко, нафталин, нафталин. Да, нафталин, но вокруг столько моли!» – так он сам говорил.

Это не прогулка по кладбищу, где ты садишься, как птица, на любую могилу. Это живая встреча. Но устают люди ждать. И если ты сумеешь их разбередить, выдернуть из тьмы – хорошо.

Мои актеры знают всё, о чем я думаю. До такой степени, что часто опережают меня. Я счастлив. На тайнах и мистификациях ничего не построишь. Конечно, им легче. Они

двигаются по сцене, они постигают мир в движении. И как бы я ни пытался их обогнать, всё равно приходится отойти в сторону. Жаль, что не стал клоуном, как мечтал в детстве. Но они смеются часто, когда я показываю. Что во мне такого смешного?

Мизансцены – это мостки между нами. Всегда можно пройти по ним туда и назад. Выстраиваю композицию наших взаимоотношений. Меняется актер – меняется композиция, про что бы ни была пьеса.

Я завишу от них смертельно. Они – от меня. Мы импровизируем, чтобы быть друг другом понятыми. Странная история – театр. Ничему не подчиняется – только внутренним связям. Так выстраивается общность, так выстраивается труппа, метод. Мы застаем друг друга в ракурсе, в непривычных положениях внутри формы. Но это для других непривычно, а для нас естественно всё, чтобы слышать друг друга. Ты, как котенок, тянешь клубок, не зная, где конец, где начало, распутывая, запутывая, боясь только одного – что клубок кончится.

Он никогда не кончится. Композиция бесконечна, она движется в попытке понять самоё себя. И я уже не знаю, где я, где моя композиция. Я начинаю думать вместе с ней... ЕЮ начинаю думать. Я актер, живу по законам мною же созданной композиции. Живу по законам пространства, в котором оказался. Можно как угодно разобрать обстоятельства, но достаточно переменить направления мизансцены, как обсто-

ательства рухнут. И всё пойдет в другую сторону, все твои построения. Если всё распадется, ты сам поймешь, что движение ложно. Это какой-то очень долго устраиваемый аттракцион с падениями, травмами, даже гибелью. В конце концов всё сводится к цельности, единству. А оно невозможно, потому что всё меняется. Тяготение к изменению, как вообще вся наша непослушная жизнь. Космогония продолжается. Вселенная еще не создана, не сказано последнее слово, и не надо делать вид, что ты его знаешь. Ты стоишь растерянный в потоке возможностей и ждешь, что с тобой будет дальше.

Они прислушиваются к биению моего сердца. Наши биения должны совпасть. Мы уже не можем друг без друга.

Ни одного живого примера, ни одного случая из жизни не привожу. Как будто всё в жизни остановилось. Что со мной? Что со мной? Неужели всю жизнь я смотрю только в самого себя и прошлую жизнь, владею только мыслью? Но я не знаю, что такое мысль. Радость, боль, но только не мысль; а мы лица, действующие по воле судьбы и бесконечной импровизации. Она вывезет тебя несомненно, надо только сделать шаг в воздух, пустоту, не задумываясь, куда тебя это приведет. К полету, падению? Надо решиться, надо решиться, не притворяясь, что тебе известны последствия. Посторонним остаются только ахи и охи, кому восторг, кому скука, им неизвестно это состояние, этот взгляд на мир, кажущийся непоследовательным вздором, небывальщиной, неразбе-

рихой. Но я-то знаю, какая за этим невыносимая красота и стройность.

До сих пор помню лето, самолет Москва – Одесса, как у Высоцкого, трап, откатывающийся от самолета, полный мужчин, протолкнувших первыми в самолет детей и женщин, несколько суток прождавших. Трап откатывается, отец и я стоим в толпе мужчин, между небом и землей, держим равновесие и нисколько не жалеем, что снова не получилось улететь.

Бугуруслан

Всё немножко смещено в сторону зачатия...

Сколько ни пишу, создается впечатление, что в мире только люди театра. Актеры, режиссеры, авторы, а я просто не знаю жизни. Но что делать, если мне так везло? Я бесполезен, я растерян в другой жизни. Хочу жить среди своих. Кто прорвется к своим, непременно будет счастлив. И вся жизнь подогнана к этому великому походу – к своим, со своими.

Я говорю не о растерянных людях, их – большинство. Я говорю о людях призвания. Вот они встретились, вот что-то не поделили и разошлись в гнев. Как это прекрасно! Какая-то возникает новая мифология. Есть о чем рассказывать детям на ночь. О борьбе этих людей, гибели, любовной страсти.

Богема.

Она везде. Она не имеет своей родины.

Она всегда смещается в сторону зачатия.

Я, как все одесситы, горжусь, что родился в Одессе.

Но где я «жил» раньше? Откуда меня доставили в этот лучший из городов, поглядывающий с высоты своего великолепия на все остальные? Нет, пора, пора прибиваться к своему берегу. И если я вступил в этот ряд воспоминаний, деваться некуда...

В искусстве не надо демонстрировать породу. Если дворняжка, постарайся оставаться ею при всех условиях.

Бугуруслан – Бугуруслан!

Сморщенный город. И такой потрепанный, что не разглядеть. Капли дождя достаточно, чтобы он расплылся и исчез.

Бугуруслан... Там встретились отец и мама. Стыдливо представляю их встречу. С разных сторон – стыдных и нестыдных. Не знаю, какое имею право вообще ее представлять. Зачем? Скажи спасибо и отойди. Жизнь получилась. Даже если она не совсем получилась, пусть останется хоть капля этого всё заставшего дождя.

Ее родили там же, где меня зачали. Только родилась она немного позже.

Думаю, что и она почти о том же пишет сейчас свои мемуары. А как бы иначе очутились мы вместе, как не путами рождения связанные. Сколько людей не хотели нашей встречи. Я их помню. Правы они были или неправы, кто знает?

Мало ли на свете городов, в которых нас могли зачать... Почему в этом? Кто-то очень торопился с нашей встречей.

Однажды мальчишкой на крыльце дедушкиного дома в чудном городе Чернигове я заглянул в бочку с дождевой водой, откуда выпрыгивали головастики и, осмотревшись, исчезали. Им было тепло в бочке, и такой масштаб жизни создавало их временное раздумье – появляться на свет, не появляться, – такой прилив сил возникал, что ты влюблялся в них заранее, во всех этих пучеглазых лягушат, которых уже до-

жидалась над бочкой мошकारа, не подозревающая об опасности.

Клокочущий мелкий-мелкий непостижимый мир, взбаламученный.

Вот так и мы с красавицей женой, пучеглазые лягушата, зачаты были в Бугуруслане, где она и родилась, а меня увезли родиться в Одессу. Зачаты мы были, чтобы покорить человечество и полюбить друг друга. Кажется, ничего не получилось, кроме полюбить. Если даже и получилось, то странно, вихреобразно, лет так на двадцать с лишним. Чтобы встретиться, родить двоих детей и разбежаться, не успев остыть от своей любви.

Может быть, я слишком хотел поставить «Живой труп» и мнил себя Федей Протасовым? Я много кем себя мнил. Если бы я хоть что-то понимал в происходящем.

Кто объяснит, почему человек поступает безрассудно?

Почему он именно так поступает?

Что, я недостаточно любил людей?

Не умел любить?

Выстелил дорогу к свету их телами?

Подло ли это – воспользоваться другими ради какого-то своего замысла?

А если ты и сам – всего лишь замысел?

Может, и нет тебя вообще? Только общая постылая постель и твои воспоминания о том, как всё прекрасно началось.

Ее воспоминания другие: «Тело очень болело. Я не любила, когда ты сразу набрасывался». Разве набрасывался? Я светился счастьем, а ты протягивала ко мне руки, когда я входил. Я рассчитывал на такую любовь всегда, а ей, оказывается, было уже достаточно.

Как я могу понравиться?

С кем меня сравнивать?

Ведь я ни на кого не похож.

Идиот, идиот. Беспокойный, ничей. Надо вырвать из себя жало замысла.

Записать поведение человека. Сначала увидеть, потом записать, пусть даже в памяти, и поделиться им с актерами. Вдруг совпадет с тем, что и он видит. Он туда же смотрит? В ту же сторону? В сторону спектакля, который уплывает от нас, не успев возникнуть? Мы его создаем, как нам кажется, а он, оказывается, принадлежит самому себе. Корабль недостроенный, недоделанный плывет к зрителю, который ни при чем. Как весело, Господи, терять собственное творение, не успевая его даже оглядеть.

Прощай, мой корабль!

Надежда моя, прощай.

На премьере я еще появлюсь, но на следующих спектаклях – никогда. Пусть плывет усилиями других, не давая в себе сомневаться.

Можно ли подержать стихи в руках? Не напечатанные, са-

ми стихи? Можно, конечно можно, но только в театре. Театр – это когда одна ладонь вмещает в себя другую, не причиняя боли. Рукопожатие. Вот и всё, вот и всё... А вы говорите – перформанс.

И вот через много лет она звонит мне из Одессы, где оказывается случайно с каким-то антрепризным спектаклем, и говорит: «Вот я сижу на Еврейской улице, ну ты знаешь, здесь весна, тепло». А я отвечаю: «Если у тебя есть несколько минут, поезжай на Второе еврейское кладбище, посмотри, что там с могилами моих родителей, положи цветы, участок 92».

Говорю и сам удивляюсь, что прошу ее это сделать. О чем она будет говорить с ними, лежащими тихо и неподвижно, напуганными ее приходом?

Зачем я это делаю?

И она отвечает:

– Еду.

Да, Бугуруслан, Бугуруслан!

Необыкновенный город.

Изнуренный прошлым, обшарпанный, ничей...

Какой там город – бочка с дождевой водой, в которой рождаются хорошие люди.

Она побывала на Втором еврейском в Одессе...

Я – в Бугуруслане через тридцать лет после нашей разлуки. Там моя мама встретила с отцом и странным образом определила судьбу этой девочки, живущей при церкви у своего дедушки-настоятеля... Этой девочки, родившей мне двух чудесных детей со своей особой судьбой каждый, и главное – любившей в шесть лет гулять по кладбищу возле церкви.

Там она сидела на скамеечке и смотрела на пропеллер – всё, что осталось от учебного самолетика, погибшего при попытке снизиться и поймать лису для моей мамы курсантом Алёшей, возможно, первым маминым мужчиной.

Она сидела и зачарованно смотрела на пропеллер. О чем она думала, эта красавица?

Вряд ли о судьбе. Может, это сама судьба думала о ней.

Заросло это кладбище, Ольга Михайловна, нет больше могилы возле церкви, но ты попала правильно. Этот участок земли и привел нас друг к другу.

Заметить мою маму было нетрудно. Даже среди пятисот девушек, отправленных в войну в Бугуруслан, в Центральное справочное бюро по сбору информации о попавших в плен, пропавших без вести в войну, развееванных, искалеченных... Даже среди этих красавиц она выделялась весельем и красотой. Отец же был настырен и великолепен.

Что занесло его в Бугуруслан, где всё покосилось еще во времена Пугачёвского бунта, да так и осталось... Где на кро-

шечный рынок в три ряда ведут остатки ступенек, обгрызенных собаками, а сами собаки, оскалив щербатые пасти, бегут рядом, лапясь... Где после войны разобьют скверик и поставят в нем от широты души самодельный памятник этим красавицам из архива и моей маме: девушка, устремленная в небо с подобием крыла за спиной. Я это видел.

На тройке коней, устремленных в небо, этот доморощенный полутриумфатор, мой папа, подкатил к архиву и пригласил маму и нескольких ее подруг прокатиться по Бугуруслану. Девушки были сражены. Мама держалась.

Прогулка по направлению ко мне началась.

Отец каждый день дожидался ее у архива, она привыкла, ей даже льстило. Девушки смотрели в окна, отец им нравился. Однажды уговорил маму зайти к нему на чай, она задержалась у него, и когда под утро один их друзей погибшего Алёши пришел за ней, отец открыл дверь и сказал: «Поля – моя жена».

Поля еще не была его женой, но зачали меня, я уверен, именно в эту ночь. Зачем? Чтобы мы встретились с моей любимой и разошлись?

Ах, Бугуруслан, Бугуруслан, никому не нужный, незаметный, но всё же свой. Я побывал в нем недавно, когда мне исполнилось уже много лет, а ты успела стать почетной гражданкой этого, нашего с тобой, города.

Улиц в нем как не было, так и нет. Кому они теперь нуж-

ны? Война закончена, вышли из дома, вошли... Если им нравится, пусть так живут. Меня встречали как тебя, но разговоров о нашем счастье я старался избегать. Или они притворялись, что не знают?

– Какая у вас прекрасная жена!

– Была, – отвечал я.

Они ничего не хотели слушать. Люди любят думать, что хорошее не меняется. Мир оставался для них всё той же бочкой с дождевой водой, где все жили вместе, прислушиваясь к войне.

Варшавская мелодия

Самое забавное – хочется объяснить, как будто это возможно, чужие слова, чужие поступки. Они тебе не принадлежат. Что ты ими объяснишь, что? Разве ты имеешь отношение ко всем этим построениям, единственная задача которых – понравиться зрителю.

Зритель тратит деньги. Отношения между театром и зрителем экономические.

Балаган.

Попытка всучить гнилой товар посредством ярких и ловких людей. Они стоят на помосте, заывают, корчат рожи, крутят сальто-мортале, а ты торгуешь. А наперсники твои между тем шарят у зрителей в карманах, пока те ошарашены и увлечены.

Театр шарлатанов мне нравится. Его вернул нам Фореггер, о котором я тоже рассказывал в одной из передач «... И другие». Вернул страшно уверенно, нисколько не стыдясь любого безобразия, впустив его даже в свою личную жизнь.

Парад шарлатанов начинался вакханалией и чёрт знает чем. Как же освобождает это «чёрт знает чем» актера! Он вспоминает, что тоже человек, что весел, что можно попрыгать на помосте, забыть о житейских невзгодах. Он становится свободным на некоторое время.

Актер это любит. Он начинает думать, что так было все-

гда.

Как Лео Басси, великий клоун, разделся до трусов, лысый немолодой человек, вылил на себя две большие банки меда, вошел в прозрачную аэротрубу, где крутились пух и перья, вернулся к нам, весь облепленный ими, прокричал:

– Так вываливали в пуху и перьях моих братьев, клоунов и шарлатанов, прежде чем изгнать из городов навсегда. И они уходили как победители, подняв в воздух руку, с застывшей маской презрения на лице.

Он говорил это, подняв руку, а в цирке звучала такая неуместная для клоунады романтическая музыка, под которую зритель неожиданно для себя начинал плакать.

Это грубый клоун, не забывший своих предшественников.

Такой театр – требующий вмешательства органов правопорядка, тумачков, скандалов – я люблю.

Я люблю, когда Лео Басси долго устанавливает на авансцене громадный арбуз, настоящий, а потом бьет по нему кувалдой, и красная жижа вместе с семечками летит в тебя, умирающего от смеха и ужаса!

Театр – это испытание счастьем, где актеры делятся с нами своей свободой. Неважно, откуда она берется, пусть от меня, режиссера, мне не страшно быть освистанным и побитым. А для чего мы иначе, если не делиться с актером своим мужеством?

Как же благодарны нам зрители, досидевшие до конца

представления! А другие нам не нужны. Они могли и не приходить, но ведь притащились же, потому что слухов много...

Ах, клоуны-клоуны! Бессмертное вымирающее племя. Мы сами становимся клоунами, не замечая этого, в самых лирических ситуациях.

Из двух режиссеров-дипломников в Театре Качалова я ставил «Варшавскую мелодию», а мой коллега, итальянец по происхождению, – «Два клена» Шварца.

Ему было трудно. Не нравился актерам.

Как известно, гримеры любвеобильны. Они первые прикасаются к твоему лицу кончиками пальцев. Вот и Тамаре захотелось прикоснуться к моему... кончиками пальцев. И она прикасалась и вздыхала... А когда это произошло между нами, сказала:

– Мне так хотелось успокоить тебя, а то все говорят: «итальянец-итальянец, а способностей никаких».

Представляете, это она, оказывается, меня пожалела, а Лео остался ни при чем. Он был настоящих итальянских корней, ему не везло, вот кто заслужил счастья. Тамара перепутала.

Стыдно, что тебя из жалости к другому полюбили.

И сама Тамара – дура.

Но какая реприза!

Мне еще долго снились площадь в маленьком итальянском городке, бронзовый полковник – прадед моего колле-

ги, круп коня, готового лягнуть меня копытом. О памятнике рассказал мне сам Лео Гаспарини. Итальянское счастье.

Спектакль, говорят, у меня получился. Пригласили ставить следующий. Но я совершил моральное преступление и вернуться в этот театр не мог. Не историю с Тамарой я имею в виду. Совсем-совсем другое.

В процессе репетиций я влюбил главных героев друг в друга. Пьеса на двоих. Она была страшно впечатлительной, жаловалась главному режиссеру, что, когда я начинаю метаться по сцене, ей кажется, что начинается третья мировая.

А как тут не метаться, когда сцена огромная, страсти сильные, пьеса плохая. Ты ставишь не саму пьесу, а ее отзвуки в тебе... Но слова, слова... Не надо ставить чужих тебе пьес... не надо ей выходить замуж за чужого человека.

Но они поженились, что, в конце концов, нормально. Как нормально и то, что, забыв наши репетиции, вскоре развелись. Но они родили сына, унаследовавшего ее актерские способности, что совсем неплохо.

И всё это было всего лишь случайной прихотью моего воображения, неверным распределением ролей.

Синяя птица

Есть вещи, за которые бьют по рукам, – к ним нельзя прикасаться. Ты заталкиваешь их куда-то под свою жизнь, там никто не найдет. Они надежно припрятаны от моих воспоминаний.

Ты их не связываешь со своей жизнью. Их как бы и нет. О них можно не вспоминать до самой смерти. Но в отличие от всех, кого ты вспоминаешь, они умрут вместе с тобой. Они останутся там, куда ты их положил. И никто не будет знать, что вместе с тобой ты увлек их в бездну.

Это слишком красиво – стать твоей женой, когда ты и сам не знаешь себя. И ее узнать не спешишь. Какое имеет отношение к твоей жизни то, что ты не узнал?!

Она не расспрашивала, о чем я думаю. Ей казалось, что мы думаем одинаково. И если бы узнала, как мало думаю о ней, расстроилась бы очень.

– О театре, – отвечал я. – Неужели есть еще что-то, о чем стоило бы думать.

И она верила. Чувство, что обманываю ребенка, владело мной постоянно.

И когда после нашей свадьбы в ее собственном доме в саду, перед тем как нам уезжать, загорелась на печке тряпка, и все бросились гасить, одновременно желая нам счастья, –

я ужаснулся.

Вот она, оказывается, какая жизнь, если ты повел ее неправильно.

Ты повел.

Пожар погасили.

Она ни о чем не хотела думать, кроме как обо мне, сидела в самолете и смотрела на меня доверчиво.

– Вот мы и поженились, – сказала она так, что я поверил в попытку полета с балкона в сад, когда она, пытаясь лететь, сквозь ветки сирени упала на землю и сломала руку.

Теперь мы летели вместе. Любая турбулентность воспринималась тогда как заслуженная тобой катастрофа. Но тебе надо было спешить. Ты обещал поставить в Риге «Синюю птицу» и летел туда, прихватив с собой первую жену, что совсем необязательно. Но такова была моя прихоть и ее детское желание пореже расставаться.

Так жили ее родители, так жили герои любимых ею книг. Их разлучали, конечно, но они держали друг друга за руки.

Держа ее руку, я летел ставить «Синюю птицу».

Она возникла случайно, «Синяя птица». Я мог бы назвать «Трех толстяков», «Республику ШКИД». Но идя к главному режиссеру на первую встречу, ни о чем не хотел думать, кроме того, что случайно придет мне в голову. Так я и женился, наверное...

Я шел мимо Художественного театра к Телеграфу. Там в стекляшке рядом Главный ждал меня. И когда я увидел в репертуаре театра «Синюю птицу», память моя напряглась. Как же я раньше не подумал? Ее ставил Станиславский, Митиль играла Коонен, и она полна чудес, эта «Синяя птица».

Да-да, какое счастье, что я прошел мимо Художественного. Конечно, я назову ему «Синюю птицу». Вот только жаль, что я никогда не читал ее раньше. Помню по учебникам, как сейчас – из афиши МХАТа. «Мне это подсказал Станиславский», – мог подумать я и был бы прав. Подсказать мог только другой, еще более далекий от меня, чем моя жена.

– Что бы вы хотели ставить? – спросил Главный. – Нам нужен детский спектакль. Ваши предложения?

«Кто ему меня рекомендовал? Откуда он знает, есть ли у меня какие-нибудь предложения и хочу или не хочу вообще ставить детский спектакль?»

– Я хочу поставить «Синюю птицу», – сказал я с вызовом, понимая, что, произнося это, пропал навсегда, по воле Станиславского, конечно.

Главный очень удивился.

– И какое у вас о ней представление? – спросил он. – Мы думали, конечно, говорили в театре, но почему-то никто не решился. Чем она интересна сегодня?

– Я хочу поставить у вас «Синюю птицу», – глупея с каждой минутой, повторил я. Понимал ли, что ему может понравиться эта моя режиссерская настойчивость?

Сколько раз я это повторил – не помню. И вообще наш разговор с Главным в стекляшке рядом с Телеграфом был коротким. Он согласился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.